

НОВЫЕ ВОРОТА

Стив ЛЕВИН. С еврейской точки зрения... Иерусалим: «Филобиблон», 2010.

Сборник статей и очерков Стива Левина – итог его многолетних исследований – включает три раздела. Первый посвящен Бабелю.

Мои отрочество и юность прошли под знаком этого выдающегося писателя: отец, литературовед Лев Яковлевич Лившиц в 1958–1964 гг. собирал по крупицам все связанное с Бабелем. Он публиковал неизданные произведения и письма писателя, а также материалы к его творческой биографии. Однако скоропостижная кончина (отец умер, не дожив до сорока пяти) помешала ему осуществить главный замысел – издать монографию о любимом писателе. После папиной смерти моя связь с бабелевским миром ослабла. Но разве возможно вырваться из плена этого гения? Я постоянно перечитывала прозу Бабеля и старалась не упустить новые публикации, посвященные его творчеству. Поэтому с огромной радостью окунулась в очерки Левина.

Стив Левин вошел в мир Бабеля более сорока лет назад, в своей кандидатской он анализировал соотношение факта и вымысла в советской прозе первой половины 20-х годов, в основном на примере бабелевской «Конармии». Размышления о еврейской составляющей в личности героя этой книги Лютова и самого писателя (по материалам его автобиографической прозы), «саратовская» глава в биографии юного Бабеля, воспоминания о многолетней дружбе со вдовой писателя А. Н. Пирожковой и исследователями творчества Бабеля И. Смирным, У. Спектором, Е. Краснощековой, бабелевские издания в конце XX и начале XXI века – вот темы этого цикла очерков.

Задача, поставленная автором, – «исследование писательской индивидуальности Бабеля, парадоксально соединившего в себе пристрастие к российскому жизненному материалу с еврейской идентичностью». Левин мастерски владеет инструментарием филолога-исследователя: разрабатывая тему, он не пытается подчинить свои выводы заранее выстроенным схемам; увлекательно излагает ход своих мыслей, подкрепляя его анализом как известных, так и обнаруженных им самим источников, скорее ставя вопросы, чем навязывая ответы.

Левин впервые вводит в литературный оборот материалы о предтече Лютова – герое очерка замечательного историка и публициста Семена Дубнова «История еврейского солдата 1915 года. (Исповедь одного из многих)» Это сопоставление кажется мне очень обоснованным и важным. Обоснованным – потому что налицо и типологическое, и жанровое сходство: приключения еврея-интеллигента, попадающего в гущу русской народной среды в экстремальной ситуации на фронтах Первой мировой («История еврейского солдата») и Гражданской («Конармия») войн. Важным – так как позволяет понять связь бабелевского творчества с литературной почвой, до сих пор мало попадавшей в поле зрения исследователей, – русско-еврейской литературой начала XX века.

Правда, между героями этих произведений есть и важное отличие. Лютов выбрал свой путь по внутреннему убеждению, а не в силу

внешних обстоятельств – призыва на войну. Лютовская коллизия – коллизия интеллигента, замороженного грандиозной народной схваткой. Он стремится понять ее движущие силы и пытается принять в ней прямое участие, но народная масса инстинктивно отвергает его как чужеродное тело. Лютова выталкивает не только русская национальная среда. Он связан пуповиной с миром еврейских чувств и ценностей, в то же время воспринимая этот мир как ограниченный и обреченный на изменение. А для его соплеменников из маленьких местечек Волыни и Галиции, готовых пожертвовать жизнью, но не расстаться с национальными традициями, лотовская устремленность к нарождающейся новой общности глубоко чужда и неприемлема.

В очерке «Бабель на Волге» исследователь впервые раскрывает жизненные обстоятельства, важные для творчества писателя. В 1915–16 гг. Бабель прожил несколько месяцев в Саратове. А затем, в 1918 году, принял участие в экспедиции по Волге с «красным купцом» Малышевым. Эту экспедицию можно назвать «увертурой» к участию писателя в конармейском походе. Ее события положены в основу рассказа «Иван-да-Марья» (1932). Центральный эпизод рассказа – безжалостный расстрел человека, душа которого была по-детски распахнута миру. Авторское отношение, интонация, сюжетная коллизия объединяют этот рассказ с конармейским циклом.

Если в советское время принято было называть бабелевский гуманизм «абстрактным», то позже, в работах Шимона Маркиша, главный акцент делался на еврейской системе ценностей, в которой был воспитан Бабель. Значимость подхода к этой проблеме Левина – в способности различать светотени. Этот стереоскопический взгляд выявляет *динамику* отношений Бабеля с еврейским миром: с одной стороны – глубокой душевной привязанности, а с другой – амбивалентности в отношении к еврейскому миру. Уже в раннем рассказе-воспоминании «Детство. У бабушки» (1915), читаем: «*Все было необыкновенно в тот миг, и от всего хотелось бежать и навсегда хотелось остаться*». Левин отмечает: «...это двойственное ощущение еврейской жизни... будет присутствовать в произведениях Бабеля и в дальнейшем».

Некоторые положения исследователя хотелось бы «договорить». Например, Левин пишет: «Для Бабеля “свое” (*еврейское* – Т. Л.), противопоставлено “чужому” – конармейскому, советскому, в которое, тем не менее, он силился войти на правах равного, но которое *отвращало* (курсив мой – Т. Л.) его своей антиэстетичностью». Здесь мне представляется *необходимым* продолжить: *отвращало*, но и *притягивало, манило*. И это роковое притяжение определило и литературное бессмертие Лютова, и жестоко и насильственно оборванную жизнь его создателя. Так же и с утверждением Левина о том, что «свой путь в литературе он (Бабель – Т. Л.) начинал с еврейской темы, которая и станет для него главной на всю жизнь». Хочется заметить: не единственно главной.

В 20-е годы еврейский мир, каким его видит и изображает Бабель, – это мир шаржированных типажей, «лукавый и сказочный мир Молдаванки», мир мессианских ожиданий, непосильной ношей ло-

жащийся на плечи ребенка... Оставляя в стороне вопрос о «зазоре» между личностью писателя и его героя Лютова (многократно обсуждавшийся, начиная с работы Л. Лившица «К творческой биографии Исаака Бабеля», 1964), отметим: не вызывает сомнения, что и сам Бабель, и его *alter ego* смотрят на еврейский мир с любовью, но как бы со стороны. В те годы для Бабеля еврейство – сентиментальный талисман, привычный камертон, главной же темой становится энергия вихря нового мира, утверждающегося через кровь и насилие (пусть и не одобряемые писателем). Но веру-то в Россию он разделяет, и долгие годы она питает его творческое воображение. Достаточно вспомнить его известнейшую цитату из письма к друзьям: «Я отравлен Россией, скучаю по ней, о ней только и думаю...» (Париж, 28.10.1927). Конечно, распространено мнение, что Бабель «вставлял» такие фразы в свои письма, зная о том, что они подвергнутся перлюстрации. Но есть ведь факты его биографии: он выбрал вернуться в Россию, а не остаться с семьей во Франции.

Продолжал ли Бабель и в последнее десятилетие своей жизни искать рецепт все той же таинственной амальгамы: российской словесности, еврейских ценностей и советской мечты, «подчиняясь как раб, как вьючный мул» лишь «демону или ангелу искусства»¹? Чтобы судить определенно об эволюции бабелевского мироощущения в 30-е годы, исследователям предстоит еще немало потрудиться над анализом его писем к семье в эти годы: шансы найти его поздние тексты в архивах Лубянки, к сожалению, ничтожны. Однако, анализируя незавершенную повесть «Еврейка» (конец 20-х гг.), Левин показывает, как в годы кризиса и молчания, когда рассеивались пыль и туман многих иллюзий, взгляд художника на действительность становится более суровым и трезвым, как возвращается к нему приоритет «вечных» ценностей. Повидимому, в этот период взгляд «извне» сменяется выстраданным осознанием того, что для самого Бабеля еврейство есть и основная система ценностей, и основной критерий для оценки окружающего мира.

Однако с утверждением Стива Левина о том, что «еврейский взгляд на мир спасал Бабеля от потери своего писательского и человеческого “я”, от погружения в кровавую мешанину советской действительности 30-х годов», могу согласиться лишь отчасти. Думаю, что этот «спасательный круг» был у Бабеля не единственным. Спасательные круги – у каждого свои – оказались у Пастернака и Платонова, Ахматовой и Булгакова... И вообще, средств, спасающих от «погружения в кровавую мешанину», помимо «еврейского», человечество придумало ещё немало – от Будды до Толстого...

Второй раздел книги Стива Левина включает очерки, посвященные диалогу между русскими писателями и евреями. Очерки расположены в соответствии с хронологическими датами творчества их авторов. Таким образом возникает дополнительный аспект – историческое развитие еврейской темы в русской литературе. Вопрос об отношениях к евреям великих русских писателей для филолога ев-

¹ Так воспроизводит И. Бабеля К. Г. Паустовский в своих «Рассказах о Бабеле».

рейского происхождения не только литературный. Он задевает чувства, говорить о которых еще нет достаточного навыка и умения. Левин ведет беседу на эту тему с доверительным уважением, с чувством собственного достоинства и меры. И его уравновешенная, выдержанная интонация придает словам особый вес.

Автор занимает позицию, с которой трудно не согласиться: отношение русских писателей к евреям – это в основном «русский» вопрос, он лишь косвенно отражает изменение социально-этнического положения евреев в России, зато самым непосредственным образом связан с изменениями, происходившими в российском духовном и общественном сознании. (От антисемитизма Достоевского – к меняющемуся на протяжении жизни от отрицательного к сочувственному взгляду на евреев Лескова и Чехова, а затем к открыто провозглашаемому филосемитизму Короленко, Горького и Цветаевой – эта схема, как любая *схема*, отнюдь не исчерпывает богатый нюансами и подробностями, живыми и часто противоречивыми деталями реальный исторический диалог русских писателей с еврейством.)

Обратимся к примеру Н. Лескова. Итогом размышлений писателя над «еврейским вопросом» стал его очерк «Еврей в России...», вышедший в 1884 году в пятидесяти экземплярах, а затем забытый. Левин приводит отрицательное мнение об этом очерке Семена Дубнова, вместе с тем убеждая читателя в его неверности: очерк написан с явным сочувствием к евреям, обнаруживает глубокое знакомство и обширные знания о быте и нравах евреев Российской империи, цепкую живую наблюдательность и преодоление распространенных предрассудков того времени, а также незаурядные способности проникновения в еврейскую душу. Положение евреев волнует Лескова потому, что с ним связана судьба Российской империи. Вообще, в отношении русских писателей к «еврейскому вопросу» у Левина не упрощенный подход – был ли «за» или «против», а попытка понять позицию того или иного писателя в контексте его творческой логики и развития.

Объективность исследователя, которая так дорога Левину, иногда заслоняет выражение его личного отношения. По поводу популярности в *современной* России очерка Лескова «Еврей в России» Левин замечает: «Автор оказался прав: его труд оказался “неизлишним” для суждения не только о еврейском “деле”, но и о судьбе России».

Но в чем конкретно видит сам исследователь актуальность лесковского произведения *в наше время*? Достаточно ли здесь ограничиться только констатацией этого явления и общими замечаниями о достоинствах текста? Почему очерк, написанный более 150 лет назад, оказался востребован в *сегодняшней* России? Ведь современное социальное положение евреев, их вписанность в доминирующую культуру абсолютно очевидны и несравнимы с ситуацией лесковского времени...

И наконец, третий раздел посвящен истории еврейской общины Саратова, «осознанию той почвы, на которой складывались мои жизненные и культурно-этнические предпочтения», как пишет Стив Левин. Саратов – исконно русский город – не входил в черту оседлости, еврейская община, сложившаяся здесь с XIX века из отслуживших солдат и ремесленников, была немногочисленна.

Кропотливая работа с архивами, устные рассказы и личные встречи легли в основу этого цикла.

Самый большой очерк посвящен обстоятельному рассказу о трагически закончившемся «саратовском деле» 1853 года по ритуальному навету – предтече «дела Бейлиса». Материалы этого дела, тянувшегося семь лет и закончившегося осуждением нескольких евреев на каторгу по недоказанному обвинению, до сих пор мало известны. Основываясь на архивных материалах, Левин сумел построить захватывающий, почти детективный рассказ. Еще один очерк повествует о жизни общины в годы Первой мировой, когда она резко выросла после выселения евреев из прифронтовых западных районов Российской империи. В эти годы еврейская жизнь в Саратове расцветает: действуют две синагоги, детсад, школа. Тогда же здесь довелось провести несколько месяцев и Бабелю. (Обе темы, исследованию которых Левин посвятил так много времени, пересекаются!) Несмотря на гонения, еврейская жизнь сохраняется в городе на протяжении всех лет Советской власти. Закрыты синагоги, но открывается новый молельный дом, налаживается выпечка мацы, строится миквэ, вырастает новое поколение моэлей. Затаившаяся, но живая, а не убитая еврейская реальность встает перед читателем со страниц очерков о саратовских праведниках и раввинах Рефоэле Бруке и Шломо Бокове, с риском для собственной жизни помогавших немногочисленным смельчакам соблюдать обряды и традиции.

...Интернетовский каталог изданий на русском языке, вышедших в Израиле за два последних десятилетия, насчитывает более семи тысяч книг. Исследователи (Майя Каганская, Леонид Кацис, Зоя Копельман, Елена Толстая и др.) уже поставили вопрос: что это? Явление русской литературы, русско-еврейской или еще один, новый «мутант» – русско-израильская литература? Мне ближе последняя точка зрения.

Конечно же, рассмотрение этой большой и серьезной проблемы – кто составляет круг авторов русско-израильской литературы, каковы ее основные мотивы, есть ли у нее собственная поэтика и многие другие вопросы, неизбежно возникающие по ходу анализа, – не входит в задачи данного отклика. Упоминаю же об этом вот почему. На мой взгляд, сборник статей Стива Левина соотносится именно с русско-израильским литературным контекстом, хотя *все* поднятые в нем темы связаны с материалом русским и русско-еврейским.

Израильский «акцент» слышится в авторском подходе к исследованию литературных и жизненных явлений. Последовательность в выявлении «еврейской составляющей» в творческой личности Бабеля. Достоинство, терпимость и спокойное восприятие позиции великих русских писателей, писавших о евреях. И, наконец, то, с каким подкупающим отсутствием суетности, бережно и уважительно, Стив Левин воссоздает подробности скудной еврейской жизни в родном Саратове. Эти обертона и эта интонация были бы невозможны, на мой взгляд, без душевного опыта, в центре которого – тут я использую формулировку Юлии Винер – Израиль как место для жизни.

Татьяна Азиз-Лившиц

ОГНИ СТОЛИЦЫ. [Альманах, выпуск 5]. Иерусалим: «Скопус», 2012.

Начну, пожалуй, цитатой: *нас было много на челне*. Нас, то есть авторов пятого выпуска «Огней столицы», в общей сложности тридцать семь в четырёх разделах альманаха: «Поэзия», «Проза», «Эссе, статьи, воспоминания, интервью» и «Пьесы». Пытаться сказать обо всех – всё равно что объять необъятное. Выберу один ракурс, который хотелось бы обозначить – *в сторону любви*. Многие тексты альманаха к этому располагают.

Первый раздел – «Поэзия», а лучшее, на мой взгляд, стихотворение в нём принадлежит Борису Камянову:

* * *

*Я чадолюбивый, потому что я чудолюбивый –
Нет большего чуда, чем новорождённый малыш.
Багровый, как пьяница, лысый, сопливый, крикливый –
Ты сладок, мой маленький, даже когда ты блажишь.*

*Глазёнки подёрнуты лёгким молочным туманом.
Воспитанник ангелов, горних посланец глубин,
Явился сюда ты беспамятным и безымянным –
И сразу же всеми вокруг безоглядно любим.*

*Откуда спустилась душа в этом нежном обличье?
Куда воспарит она, сбросив отмершую плоть?
Склонясь над тобой, эту тайну пытаюсь постичь я –
Да вот затуманил глаза твои скрытный Господь.*

.....

*Жестоко проказишь, но всё же боишься огласки.
Завистлив, как все мы, при этом не чужд куражу.
Гляжу я, как в зеркало, в чистые, ясные глазки.
Себя нахожу в них, а тайну – не нахожу.*

*И всё же однажды её непременно раскрою.
Душа воспарит в поднебесье – а ты, мой малыш,
Склонившись над телом, навеки оставленным мною,
Прочтёшь, как положено, первый свой в жизни кадиш.*

Для автора нет сомнений в том, «откуда спустилась душа» недавно явившегося на свет внука: к его рождению не может не иметь отношения Тот, кто затуманил его «чистые, ясные глазки». Выше всяких похвал разработка мотива и, главное, закономерное (для *этого* поэта), но и неожиданное – после признания в неспособности найти божественную тайну в глазах внука – его, мотива, завершение и решение.

У Камянова впечатляют и другие стихотворения, но я прокомментирую только одно из них – «Чудо-юдо». В нём также воплощены две любви: к Богу, который послал нам *вымоленный ливень*, и к стране,

которую *щедро напоил* этот дождь. Отмечу только, что последние две строки: *Бог послал нам чудо-юдо. / Чудо – Он, а юдо – мы, –* своей шуточной афористичностью снижают пафос предыдущих четырнадцати строк.

И у Зинаиды Палвановой есть стихи, посвящённые внучке, тоже напряжённо любовные:

*Какое счастье – под одну гребёнку
не стричь безостановочные дни!
Замедлить время удалось ребёнку.
Разнежить воздух удалось любви.*

А ещё в подборке Палвановой – стихотворение смущающее, можно даже сказать, обескураживающее: «9 мая в Германии». Она называет свою героиню бывшей фашисткой. Поэтесса видит какое-то поле (не поле брани!), которое ранит её *войной, безотцовщиной, детством*. И всё же она желает бывшей фашистке процветания (буквально, а не только метафорически; употреблён глагол «цвести» в повелительном наклонении). Очень сильно сказано об этой – какую она успела полюбить – Германии: *страна, себя победившая, / беду свою превозмогающая*.

У открывающей раздел «Поэзия» Аси Векслер запомнилось прекрасное стихотворение «Астрея». И хотя Астрея – греческая богиня справедливости, но не только о справедливости хлопочет поэт. *Идеального времени нет на земле, –* вздыхает Векслер, переключаясь со своим учителем Александром Кушнером (помните: *Что ни век, то век железный?*). А дальше следует неотклонимое лирическое утверждение: *Есть привязанность к жизни – и место, / где настольная лампа горит на столе / и душе в оболочке не тесно*. Это ведь тоже о любви, не правда ли? И другое стихотворение – оно называется «Почти монолог» – тоже о любви: *увидеть Иерусалим – и жить*.

Михаил Кравцов выступает с любовно-эротическим стихотворением «Ни сойтись, ни расстаться с тобой не могу...». Концовка этого текста совершенна: *И сольются дыханья, и мы полетим, / Слово белым кольцом завернувшийся дым...* Этот прекрасный – потому что совместный – полёт читается как апофеоз подлинной любви мужчины к женщине.

Ну а Нина Локшина в который раз (но всякий раз по-новому!) объясняется в любви к *своей* Праге, которую регулярно навещает и от которой не в силах оторваться душой: *Благодарю Тебя* (вот так, с прописной буквы! – *М. К.*), *что делишься со мной / Хотя бы частью моего наследства*.

Или вот это:

*Нам всегда выходит боком
Недоверие к пророкам
И привязанность к далёким,
Но уже чужим местам...*

Да, всё-таки чужим, потому что есть – Иерусалим: *Я живу в Ерусалиме – завидуйте мне!* – этим ликующим возгласом завершается отнюдь не дифирамбическое воспоминание о предках из Чехии. Локшина неизменно любовно привязана к своим предкам, о чём, помимо процитированного текста «Жили предки в старину в местечке Любешнице...», свидетельствует и другой – «Старые фотографии»:

*Лица предков стали мне в старости мерещиться –
Ничего о прошлом знать не хотят юнцы... –
Бородатый прадед Лейб из местечка Речица,
Бородатый прадед Калмен в городке Клинцы...*

Как всегда, наиболее сильные стихи Ирины Рувинской отличаются редкой лапидарностью, что нисколько не препятствует значительности разрабатываемого мотива:

* * *

*просто
к полке руку вдруг протянуть
взять
коснуться обложки
по корешку провести
не с начала открыть
полистать
в конце заглянуть
и на место поставить
это с книгой так можно
прости*

Не могу не отметить и цикл Григория Трестмана «Перекличка». «Перекликается» же автор с Блоком, Пастернаком, Цветаевой и Владимиром Соколовым. Особо выделю текст с эпиграфом из Цветаевой (ибо в разделе публицистики наличествует эссе автора этих строк «Моя Цветаева»). Меня сильно тронул второй секстет:

*С похоронных тех времён
стёрлись все следы имён,
нет на мраморе ни знака,
лишь Марина в гулкой мгле
пела реквием в петле
из верёвки Пастернака.*

Не соглашусь с принадлежностью (пусть и иносказательной) проклятой верёвки Пастернаку. Но, с другой стороны, он и сам, как известно, терзался чувством вины из-за цветаевского «реквиема в петле».

Прозаические сочинения занимают в альманахе в три раза большую площадь, чем стихи, но в моей рецензии займут более скромное место. Причина не в том, что проза качественно уступает поэзии, – и в этом разделе немало интересного и даже превосходного. Однако меня ограничивает выбранный угол зрения – *в сторону любви*.

Один из трёх рассказов Михаила Гончарка – «Девятнадцатое декабря» – тоже о любви. История эта поведана с меланхолическим юмором, присущим писателю. Однако «эпилог» написан в совсем иной, лирико-ностальгической тональности. А последний абзац напоминает лирическое стихотворение в прозе.

Однако подлинной жемчужиной прозаического раздела является новелла Леона Кержнера (имя для меня новое!) «Внутренний мир». Эта вещь заслуживает особого разговора. Автору удалось и вытнать, но ненавязчивый психологизм произведения, и динамика изменения внутреннего мира героев, и великолепно прописанный антураж, и крупные планы, которые по плечу только настоящему художнику. Я мог бы привести кучу цитат, обнаруживающих у Кержнера и пристальное зрение, и безошибочное чувство меры, и блестящее владение русским литературным языком.

Но ведь это всё не по заявленной теме. А что по ней? Самое главное в психологической прозе – *любовь автора к созданиям своего творческого воображения*. И мне, читателю, совершенно не важно, есть ли у персонажей реальные прототипы. Важно то, что у них есть этот самый внутренний мир, и он такого свойства, что позволяет глубоко сопереживать главной героине. Не стану раскрывать сюжет «Внутреннего мира» – скажу лишь, что, как в любой подлинно художественной прозе, он не просто совпадает с фабулой (она здесь в хорошем смысле проста и бесхитростна), но связывает в единое художественное целое все нити замысла и все его открытия как на микро- (детальном), так и на макроуровне (*судьбы скрещенья*, как писал классик). И ещё: концовка «Внутреннего мира» поражает своей отстранённостью от основного сюжета, но при этом воспринимается как вполне органичная для данной вещи.

Мотив любви по-своему проявляет себя и в ряде материалов публицистического раздела альманаха. Так, Татьяна Азиз-Лифшиц не скрывает восторженной любви к поэтическому творчеству Михаила Генделева («Миша Генделев из породы Пушкина и Моцарта»; лично мне эта аттестация представляется завышенной, но это ведь мнение автора эссе), а Валентин Кобяков в своих «Заметках верхогляда» – трепетной любви к жизни во всех её проявлениях. По этому тексту, вследствие его поистине юношеской восторженности, автору никак не дашь его семидесяти пяти. С каковым юбилеем – вместе со всеми участниками объединения «Столица» и остальными авторами альманаха – и поздравляю Валентина.

Не пишу о вошедших в альманах пьесах: трагедии на историческую тему Александра Свищёва «Расплата» и трагикомедии Владимира Ханана «Вздорный характер бытия», поскольку речь в них о другом.

Пятый выпуск «Огней столицы» больше предыдущих сместился в сторону любви. На мой взгляд, это бесспорное достижение как непосредственных его участников, так и редколлегии альманаха.

Михаил Копелиович